

18+

Юрий Сыров

Не кончайся, осень

Рассказы



Юрий Сыров

Не кончайся, осень. Рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39411651

ISBN 9785449376282

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Стоит посмотреть на обычного человека повнимательнее, замечаешь, насколько он интересен: непредсказуемый, чудаковатый, добрый, смешной, милосердный... Герои этих рассказов – обычные люди. Обычные, пока не согласишься на них повнимательнее... В книге четыре раздела разных рассказов, но объединяет их одно: они о главном, о доброте. И для тех, кто чувствует чужую боль, как свою. Для тех, кто живёт по законам Божиим не потому, что Он так велел, а потому, что по-другому не может.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Мысли о смысле... | 6 |
| Подруга | 6 |
| Куда мне... | 12 |
| Жить | 13 |
| Боженька | 16 |
| Хомут | 19 |
| Ведьма | 28 |
| Небушко | 32 |
| Холодно... | 35 |
| Миг счастья | 37 |
| Что это... | 39 |
| И я с тобой... | 44 |
| «Камень» | 47 |
| Лосиные слезы | 55 |
| Витюшка | 61 |
| Страж счастья | 61 |
| Артист | 72 |
| Водительница – спасительница | 79 |
| Счастье | 83 |
| Блаженный Серафим | 91 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 94 |

Не кончайся, осень

Рассказы

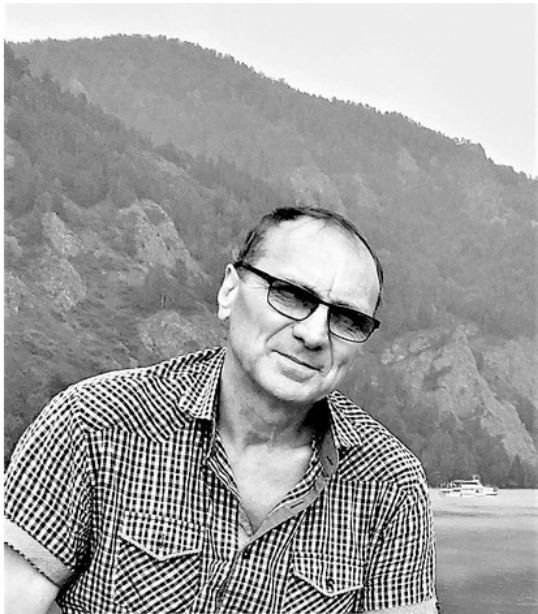
Юрий Сыров

© Юрий Сыров, 2024

ISBN 978-5-4493-7628-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сыров Юрий Александрович.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial letter followed by several horizontal strokes.

Вдохновением для написания рассказов служат вроде бы обычные, но так редко встречающиеся каждому из нас удивительные люди. Их удивительность – в прорывающейся сквозь привычные человеческие слабости и недостатки душевной красоте и доброте.

Член РСП. Дипломант литературных конкурсов.

Мысли о смысле...

Подруга



*«Христиане должны считать себя сораспятыми
Христу – на кресте вместе с Ним»
(стих 16)*

Ну, здравствуй, подруга. Давно не виделись.
– Соскучился?

– Надоела.

– Не любишь ты меня.

– Тебя можно любить?

– А как же. Ещё как любят. Ненавидят, проклинают, боятся. Бывают редкие экземпляры, как был отец твой – смеются надо мной, издеваются! Всю войну за мной бегал, а не я за ним. А многие любят. Зовут, умоляют быстрее прийти... от мук избавить. К тебе сколько раз приходила... уж и не помню сколько. Привыкнуть надо бы друг к другу. А ты: «Надоела»!

– Я тебя никогда не звал, а ты приходишь и приходишь. Да сколько можно-то! Об одном прошу: быстрее забирай, да и пошли к дьяволу!

– Да вот, дорогой мой, и проблема-то в том, что *Он* никак всё не решит: к дьяволу тебя или – к Нему.

– Слушай, Смерть, грехов-то у меня столько! Сама знаешь. Что гадать-то?

– Знаю. Только моё дело маленькое: куда скажет, туда я и поведу. А *Он* к тебе пошлёт, а сам всё думает, думает. А я всё жду, жду возле тебя. Потом как крикнет на меня: «А ну-ка, брысь!» Самой надоело без конца к тебе бегать.

Будто налитые свинцом веки слегка приоткрылись. Ослепительно белый больничный потолок. Белый цвет – любимый цвет, но до чего же противна сейчас эта белизна!

– Надо. Ладно, ладно, надо. Умирать когда-то надо. Или поздно, или рано. Всё равно ведь надо, ладно...

– Что-то шепчешь?! Вот ты постоянно, как я приду, это шепчешь. Не пыжься. Всё равно ведь не услышит никто. Губы-то не шевелятся, да и нет никого. А я и так всё слышу.

Губы действительно не слушались, были онемевшими, будто в каждую из них вкололи по литру новокаина. Ноги становились все легче и легче, ощущалось нежное, прохладное покалывание, как иголками льда. И вот они вообще перестали ощущаться, словно отделились от остального тела. Вспомнилось, как перед операцией анестезиолог прошептала в самое ухо: «Сейчас слегка закружится голова, не пугайтесь, закройте глаза и засыпайте...», от последнего слова в памяти только обрывок, дальше темнота и покой. А потом – пробуждение. Невыносимая боль в животе. Першение в горле от интубации. А как хорошо было под наркозом...

– Ты не могла бы за мной прийти, когда я усну.

– Да ты что! *Он* меня так только за праведниками отправляет. А ты, дорогой мой... Грехов-то не счесть. Всё возмущаешься, что правды нет на земле. А то ещё хлеще – повторяешь: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше!» Ты это знаешь? Куда лезешь?!

– *Он* справедлив. Знаю. Раз делает так, как делает, значит нужно так. Только... трудно согласиться с тем, что дети невинные страдают, гибнут. А подлецы, сволочи живут припеваючи.

– Да почему же вы все меня за наказание принимаете?! Наказание или награда вас после ждёт. И детей страждущих

и подлецов жирующих, про которых ты говоришь. А жизнь здесь вам не в награду даётся, а для испытаний! Для того, чтобы знать: куда вас потом – к дьяволу или к Богу! И слова эти дурацкие: «... правды нет – и выше» не повторяй за другими.

– Это же великий Пушкин!

– Пушкин... И Пушкин это за другими повторял. Я-то знаю, а ты чего бухтишь? Тебе до Пушкина... А всё равно *Он* долго решал: куда его. Два дня стояла, ждала. Грехов у Пушкина было... А ты все грехи-то свои помнишь? Прощает *Он* тех, кто грехи свои помнит и кается. А ты? Когда вспоминал? Когда каялся? А-а, то-то.

– Обо всём помню. И память эта всю жизнь душу гложет, это вечная боль моя за поступки, о которых другие и не вспомнили бы. А прощений у Него не прошу потому, что сам себя не прощаю.

– Ну, может, что и не знаю. Не моё дело про всех вас всё знать. А-а, вот: не венчанные живёте, во грехе!

– Дура ты. Любовь грехом быть не может. Любовь от Него, она – святая.

– А, забыл, как приходила за тобой: то ли в четвёртый, то ли в пятый раз? Ты о чём подумал тогда? Вспомнил? О том, что сын твой пятилетний может быстро тебя забыть! И надо тебе что-то срочно сделать, чтобы помнил он тебя подольше. А ведь это – гордыня! Гордыня, дорогой мой.

– Да, точно, помню. Это гордыня?

– А ещё раньше? Помнишь? Семнадцать тебе было. Лодку льдиной перевернуло, и ты, как самый старший и сильный, плыл в весенней воде и друзей ташил. О чём думал? Я помню, рядом была: «Утону, но ребят спасу! Зато потом героем будут считать!» Герой... Гордыня!

– Помню. Но ведь не только об этом думал. Не всё ты помнишь. Или не хочешь помнить. Злая ты.

– Да, не любишь ты меня. Да и я тебя. Надоело без толку ходить. А *Он* любит тебя. А.., *Он* всех любит. А ты о Нём только тогда вспоминаешь, когда за близких своих боишься. Молишься, прощения за их грехи просишь. Просишь наказать и послать на тебя то, чем *Он* хочет их наказать. За грехи других страдать хочешь? Считаешь, что ты как *Он*, что ли?!

Вот уж – гордыня.

– Любовь это, а не гордыня.

– Не оправдывайся. Хотя... душа у тебя чистая, светлая. Жалеешь всех, всем помочь хочешь. А всех ведь не разжалеешься! Вы, люди, разные все. Большинство – «у креста». А некоторые, ненормальные – «на кресте». И ты – «на кресте». Только не как *Он*, не думай. Рядом с ним. Хоть и не очень-то его почитаешь, но живёшь – как *Он* велел. И не потому, что *Он* велел, а потому, что по-другому не можешь. Счастье для тебя – делать счастливыми других. *Он* знает, что ты никогда не отказал в помощи, кому она нужна была. Знает, что за это частенько отвечали плевком в сердце тебе. Знает, что не озлобился, считаешь, что это его

право: карать, прощать! Знает, что сердце твоё преисполнено болью, состраданием и милосердием. Вот и не может никак решить: куда тебя...

– Слушай-ка, подруга, а мне что-то легче стало.

– Ох и надоело же мне это всё! Пусть Сам за тобой потом идёт! Ну да ладно, куда я денусь. Ну, пока – не прощаюсь. Как там в твоей считалке: «...или поздно, или рано, всё равно ведь: надо, ладно...», так? Помни: на кресте или у креста. Только... будешь на кресте – раньше приду!

Куда мне...

Не больно... Ничего не чувствую. Не болит совсем! Слава тебе, Господи...

А... что это? Где я?! Не-ет! Нет... Господи, за что?! Умер... Всё, значит...

Да ну и ладно. Ну и хорошо... А ведь и правда хорошо. И спокойно совсем стало... Легко.

А много-то как нас... Все идут куда-то, идут. Друг за другом. Прямо, прямо, потом поворачивают. Стоит кто-то впереди. Налево всем показывает. А что там? Пятно огромное. Чёрное. Как пещера... Ад? А справа? Такое же, только ослепительно-светлое. Да... И все налево...

И мне идти? Ну и ладно. Ну и хорошо... Куда мне... знаю – куда.

Не туда пошёл?! А куда мне? Направо! Нет? Нельзя? Рай не для меня... А куда же... Назад?! Как... Опять туда, где горе, муки, боль... Зачем... за что Господи... За что?!

Жить

Как больно! Если б только кто знал! Муки душевные не сравнить ни с чем. Нет сильнее, мучительнее и невыносимее этой боли. Куда от неё деться?! Нет спасения. Нет. Ни в темноте. Ни в свете. Нигде!

Как бы время повернуть назад!? На несколько секунд слетать в прошлое! Прожить по-другому то мгновение, от которого теперь никуда не деться. За которое до смерти стыдно... До смерти? Только и осталось! Чтоб не видеть и не слышать ЭТО! Жизнь – мука, горе, боль! Страх смерти. Прихода её к родным, близким, к себе... Особенно когда болезнь и... старость. Страх оттого, что приход её неминуем! А раз неминуем, то зачем ждать? Это решение всех проблем. Всё меркнет перед смертью: неустроенность, бедность, несправедливость, болезни, страх, злоба и пакость гадких врагов, стыд, позор. И «камень на душе» – не разобравшись несправедливо обидел, причинил боль. Осуждение самого себя – самое страшное, от чего никто и ничто не спасёт. Только смерть. Она всё решит, всё спишет.

И сразу легко и просто всё вокруг, сразу найдены ответы на все вопросы... вернее, уже нет больше вопросов! Мертвым всё можно, мертвым всё прощается, ВСЁ. И сразу это ВСЁ становится мелким, ничтожным, никчёмным и далёким. Как страшный сон, приснившийся когда-то в детстве,

и, за давностью лет, еле различимый в туманной пелене памяти.

И будет всё равно, что скажут и подумают. Всё равно, что сделают с тобой: сожгут, закопают, выбросят на распотрошение воронам – всё равно. Какой ты: синий от повешенья или утопления, красный от яда, с дырой в голове от пули, серо-белый от вскрытых вен – будет всё равно!

Будет... Но сейчас! Сейчас, пока ещё здесь, в этом мире – совсем не всё равно. Совсем. И хочется уйти красиво, и выглядеть красиво, и лежать красиво и в красивом... и чтоб говорили и думали красиво, и плакали, чтоб искренне и красиво, и помнили чтоб... красиво.

Но оттуда ведь ничего не слышно и не видно! Пустота! Темнота! Как во время наркоза, только не на время, а навсегда! И говорить будут не то, что хотелось бы услышать. А уж думать и плакать... И помнить – не все и недолго...

А родные и близкие? Ведь это для них невыносимо... Имято за что это?

?

А, может, не такое уж это ВСЁ и ВСЁ?

?

Да плевать на эти проблемы – не такие уж они и не решаемые!

А стыд, позор? Струсил. Соврал. Обидел невинного...

Но ведь не хотел, вышло так! Не смог. Не вынес. Не стерпел. Не выдержал... И что теперь? Смерть?

Да ну её к чёрту! Она сама придёт, не опоздает, когда надо будет! А это ВСЁ, от чего хотелось пулю в лоб – судьба, «крест»! И надо, невзирая ни на что, нести его – жить! Жить!

Боженька



– Боженька, помоги! Боженька! Помоги! – громко шептал сухими потрескавшимися губами худенький, горбатый старичок. Он сидел на берёзовом чурбаке рядом с умирающей коровой, положив её огромную голову себе на колени. Бока лежащей коровы, будто кузнечные меха, то разъезжались в стороны, то сжимались, выталкивая из ноздрей горячие, розоватые брызги. Старичок уткнулся лицом в широкий коровий лоб между её больших, немигающих глаз и быстро-быстро зашептал одному ему и, видимо, ей слышные и понятные слова. Затем запрокинул лицо и, словно в самое небо, громко, что есть мочи, закричал:

– Боженька! Миленький! Помоги-и!

И снова уткнулся в мокрый от его же слёз коровий лоб.

Через некоторое время бледный старичок медленно вышел из хлева. Аккуратно прикрыл за собой дверь и лёг около неё на бок, подсунув под голову свою сухонькую, сморщенную ладошку.

Хозяева больной коровы всем семейством столпились около лежащего деда. Трёхлетний Гришатка присел на корточки и, нежно глядя его седую голову, запричитал:

– БоЗенька, миЕнький! БоЗенька, юбименький! УмаиЙся, мой БоЗенька!

Дед приоткрыл глаза, протянул Гришатке дрожащую руку и, пытаясь улыбнуться, прошептал:

– Ничего, тёзка, устал маленечко, ничего. Ты водички мне... водички.

Стоявшая рядом мать Гришатки кинулась в дом. Прибежав с водой, упала перед старичком на колени и поднесла кружку к его пересохшим губам:

– Дядя Гриша, может, в избу?

– Нет, Тосенька, нет... отдохну здесь... маленько, подожду: как она горемычная? – тихо сказал он, жадно глотая воду. Потом поблагодарил Антонину, быстренько перекрестив её, и, сказав устало: – Спаси ты Боженька, – снова уронил голову.

Будто услышав своего спасителя, корова отозвалась громким мычанием. Хозяин бросился в хлев и тут же, выбежав

обратно, растерянно прошептал:

– Стоит... серку жуёт... Вроде и не хворала вовсе.

Антонина, стоя на коленях и кланяясь деду, сквозь всхлипы тараторила:

– Дяденька Гришенька, дяденька Гришенька, Боженька! Господи! Уберёг нашу кормилицу! Дяденька Боженька, миленький! Господь тебя спаси-и! Крылья у тебя ту-ут... – и, уткнув лицо в горбатую спину деда, громко разрыдалась.

Даже в лучшие годы коровка для крестьян была значимым, дорогим членом семьи. А в голодный год – спасением от смерти.

Дед Боженька прозван был так за его божественный дар спасти скотину от любых болезней, да ещё за то, что всем говорил при встрече: «Спаси тя Боженька!» – да и за то, что не брал за работу свою ничего.

– Мне Боженька дар дал, чтобы я у вас нелишний кусок хлеба отнимал? – отвечал он пытавшимся отблагодарить его.

В тот страшный голодный год дед Гриша, Боженька, умер. Умер... от голода. Дай, Боженька, ему *там* всего, чего он заслужил!

Хомут



«...Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят...»
(Есенин)

– Гришка Тишкин – Паровозя,
Гришка Тишкин, ты кривой,
Не работаешь в колхозе,

Разошёлся ты с женой! – пел писклявый голосок, прорываясь сквозь рваные клочья туманной дрёмы в воспалённой голове Гришки. Он приоткрыл глаза – голосок приумолк.

Гришка знал из прошлого опыта – такое уже не раз с ним бывало – это начало белой горячки. Начинается с голосов, при закрытых глазах, а при открытых они исчезают..., сначала, потом и при открытых... А дальше насекомые всякие по телу бегать начинают, чёртики зелёненькие донимать: заставляют подчиняться, делать то, что они прикажут. А, главное, пищат, гады, да так противно пищат... частушки всякие припевают... сволочи.

Частенько с Гришкой такое случалось, потихоньку привык он и научился жить с этим. Главное – не бояться и делать всё наперекор чёртикам. Чтоб убедиться, он снова зажмурил глаза. Голосок тут-же запищал:

– Всё, что в жизни было – сплыло,

Сплыло, пеленой закрыло...

Гришка повернулся на живот, зарылся с головой в солому, на которой лежал, простонал сквозь всхлипы:

– А-а... Мамынька..., ма-ма, милая-а...! Тя-тя, тятенька, родненький...

С силой придавил себе руками уши, пытаюсь приглушить противные голоса. Вспомнил отца, детство. Отец... Как они играли с ним, как донимал его:

– Тять. Тятя, в паровозю давай играть! В паровозю!

Отец сажал сына на плечи и, подпрыгивая, бегал по избе:

– Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! Мы с Гришаткой па-ро-во-зя, чух-чух-чух!

А мать... как она любила его! Возьмёт, бывало, на руки,

прижмёт к груди крепко-крепко и шепчет в ушко: – Кровиночка ты моя милая, Паровозя ты мой сладенький.

Так и пристало к нему – Паровозя.

Всплыли в памяти её слова, сказанные незадолго до смерти:

– Гришенька, сыночка мой родимый..., что ж ты делашь-то...! Знала бы я, что ты превратишься в такого. Господи... да в люльке бы задавила тебя! – и тут-же – Гришенька, родненький, прости меня, дуру старую, Христа ради! Прости! Ведь так и издохнешь под забором.

Гришка приоткрыл глаза – писклявый снова притих – поднялся, покачиваясь, присел на валявшийся рядом берёзовый чурбак и стал мучительно вспоминать: сколько ж дней пил? Неделю? Нет. Не смог вспомнить. Во дворе пил. А что, в избе – жарко... в избе, душно..., пусто. Да и двор-то пустой. Скотины давным-давно нет. И жена ушла. И детей увела. Разошлись они, не вынесла она жизни такой, но не смогла его совсем бросить: приходила, еду готовила, стирала, в избе прибирала. И детишки не раз за день прибежали, вечно пьяного тятюку проведать...

– Все, что в жизни было – сплыло,

Сплыло, пеленой закрыло – заблеял голосок.

– Ну вот, началось... – обречённо пробормотал Гришка. Встал, страхнул с себя прилипшую солому, попытался страхнуть чёртиков, прыгавших по ногам, поднял голову и прилип взглядом единственного зрячего глаза к крюку, на котором

висели хомут и вожжи.

– Интересно. Никак... хомут? Точно, вижу! Точно хомут. Слава Богу.

Раньше, когда с Гришкой «начиналось», хомут превращался в огромную голову. То в голову отца, то матери, то в чёрта какого-то страшного. А сейчас с ним «началось», а хомут был – просто хомут, не чёрт, не отец, не мать. Матери давно нет, и отца нет, и лошадей нет ещё давнее, а хомут... хомут висит, почти тридцать лет висит. Хомут жалко. Жалко выбросить, жалко отдать, жалко. Он напоминает о счастливом детстве...

Отец хомут и всю новую сбрую купил после рождения Гришки, перед тем, как его в церковь крестить везти. Две лошади у них было. Сивка – конь-богатырь: и пахали на нём, и возили сено, дрова, навоз на поле. И Рыжик. Конь-красавец: высокий, осанка гордая, грива рыжая чуть не до земли, шерсть лоснится, глаза горят. Его отец запрягал только в тарантас. Ездили на базар, в церковь...

Церковь-то была какая! Теперь обветшала, почернела, кресты поломали, иконы порубили, сожгли... – склад зерновой там сейчас. Лошадей при раскулачивании забрали. Отца осудили за убийство комсомольца и расстреляли. Хотя все в деревне знали, что убили комсомольца его же сотоварищи. Не поделили отобранное добро. Но Гришкин отец угрожал ему. Когда раскулачивать пришли, отец за голову красавца коня обнял, заплакал, умолял оставить Рыжика, ведь старый

он уже – Рыжик то, зачем он им... Комсомолец тот его наганом по голове, уздечку вырвал и повёл Рыжика. Отец проклятья ему и в драку.

Били они долго отца... и Гришку били – тятку бросился защищать. Наутро опять пришли. Ночью убили комсомольца того. Подозрение на отца да Гришку, хоть и лежали они оба, полуживые, пластом всю ночь. Отца увезли, а Гришку по малолетству – четырнадцать ему всего было – пожалели, попинали только ещё на прощание сапогами коваными. Не верилось, что живой останется. И кашлял кровью, и мочился кровью, но выкарабкался. Глаз только вытек, да зубы почти все выплюнулись...

Трудно им с матерью пришлось, настрадались. И соседи, и родственники отвернулись – боялись. Как жить?! Воровать Гришка стал... и пить. Попался. Посадили. Долго сидел. Потом война, попросился в штрафбат. Пришёл с войны израненный, грудь в медалях... Мать пятнадцать лет только надеждой и жила, что сыночку своего дождётся, что прижмёт крепко-крепко к груди и зашепчет в ушко ему:

– Кровиночка ты моя милая, дождалась я тебя, родненький... Паровоза ты мой сладенький...

Стала налаживаться жизнь их потихоньку. Дом поправил, работать стал: десятником его взяли на торфоразработки. В колхоз не пошёл, не смог – обида старая. Женился, детишки пошли. Всё бы ничего да... болезнь. Мать старая стала, умерла, но больше от горя. Потом и жена ушла, не выдержала.

ла...

Чертики резво попрыгали с его ног на хомут. Маленькие, наглые. Смеются, пританцовывают. А тот, писклявый, самый маленький – всего с Гришкин палец – смеётся громче других и припевает, гад:

– Все, что в жизни было – сплыло,

Сплыло, пеленой закрыло

Остальные хором подхватили:

– Гришка Тишкин – Паровоза,

Гришка Тишкин, ты кривой,

Не работаешь в колхозе,

Разошёлся ты с женой...

Гришка вытер слезы, тряхнул головой и закричал:

– Идите на х..., б... ди! Вы мне тут, хош распляшитесь, не впервой! Вас, перво дело... вас не слушаться, и... всё.

Он привстал, снял хомут и вожжи с крюка, присев, положил его на колени, вожжи на шею себе повесил. Любовно погладил хомут, стараясь сдерживать размашистую дрожь в руках и не обращая внимания на пляшущих на нём чёртиков, попытался поковырять ногтем еле приметные, тоненькие, как волоски трещинки на прохладной, мягкой коже.

– Стареем мы, брат, стареем. Ты дольше меня проживёшь, я знаю. Только... как без меня у тебя всё сложится. Может, в колхоз отдадут, только... нет же у них таких лошадей, которым бы ты по размеру подошёл! Рыжик то великан был. Не нужен никому ты без меня. А я тебя... я тебя с собой

возьму, вот. С собой.

– Гриша, на-ам! Нам он нужен, нам, нам, нам – затараторили чёртики наперебой.

Сердце колотилось, будто кролик в клетке. Казалось, что вот-вот выпрыгнет и помчит, помчит...

Чёртики тут-же запричитали повторяя Гришкины мысли:

– Сердце, седынько моё,

Что ты бьёшься, как крольё!

Гришка снова посмотрел на крюк. Тятка крюк то вбивал. В памяти снова всплыл отец. Большой, сильный, борода окладистая...

– Чё, сынок, думаешь не выдержит тебя, крюк-то? Вы-ыдержит! Да, чай, висеть-то недолго будешь. Не хомут чай. Сымут, у кладбища закопают... у забора.

Гришка оглянулся. Сзади стоял отец, улыбаясь, гладил седую бороду.

– Тять, я ведь знаю, что это не ты... это... – Гришка запрокинул голову и завыл:

– Душа моя рваная, когда ж успокоишься ты... Господи! Да дай же ты мне хоть чуточку покоя! Чуточку. Сколько мне нести этот «крест»..., этот «хомут» мой... Дай хоть в конце мне чуть-чуть! Чуть-чуть покоя в конце...

– Сынок, а глянь-ка на крюк-то мой, глянь-ка.

Гришка вытер лицо, посмотрел на крюк. Там, с выпученными глазами, вывалившимся языком висел на вожжах он, Гришка. На голове прыгал тот самый нахальный чёртик и пи-

щал:

– Гришка Тишкин – Паровозя,

Гришка Тишкин...

Гришка оглянулся на отца. Тот беззвучно смеялся. Отвернувшись и помахав ему своим чёрным, козлиным хвостом, цокая копытами, ушёл сквозь стену.

Заскрипели, открываясь, дворовые ворота и, боязливо пригнувшись, медленно, держась за руки, вошли Гришкины дети: семилетний Степашка и дочурка любимая, пятилетняя Сонюшка.

Гришка привстал с чурбака, улыбнулся и, протянув к детям руки, пошёл навстречу:

– Детьнышки, милые, не забывают тятку, не забывают. Сонюшка, солнышко моё...

Но дети, оцепенев на секунду от вида висящего на крюке, с визгом бросились на улицу, к бегущей навстречу матери:

– Мама-а-аня! Татя! Тятя! Пове-есился-я!

Он видел всё: как его сняли, занесли в дом, как плакали дети, как, заламывая руки, кричала жена. Как бегала она по монашкам (попа то в деревне не было давно) умоляла отпеть Гришеньку родного – не грешен ведь он, болезнь это, болезнь... – ни одна не согласилась. Божьего гнева испугались, грех непрощённый и отпевать самоубийцу.

Утром люди стали собираться. Заходили ненадолго в дом, угрюмо постояв у его ног, выходили и толпились на крыльце. Мужики курили самокрутки, качали головами, и в который

уже раз обсуждали чудо – копая могилу вдруг наткнулись на закопанный там хомут...

На следующий день Гришку хоронили. Хоронили... с хомутом. За кладбищем, у забора. Как мать и пророчила..., под забором.

Ведьма



Ночь тихая была, светлая. И не только от яркой луны и белого снега, но и от тёмных домов, которые как будто отдали всё своё светлое, что было в них, улице и впитали в себя всё её тёмное. Самыми тёмными были окна, чернеющие как пустые, бездонные, безжизненные глазницы. Но за этими окнами была жизнь, были люди: добрые и злые, весёлые и грустные, такие, которых величали по батюшке и кланялись им при встрече, и такие, про которых говорили: «Дрань безпортошная»! Одним словом – были в этой деревне люди такие же, как и в других в то время. В то время, когда каждый жил для себя, а все вместе – для батюшки царя. Да ещё война была. Горькая война, слепая, бессмысленная: за царя, за каких-то союзников, за обещанные неведомые Босфор и Дарданеллы...

Забрали мужиков воевать. Много вернулось покалеченных, многие были там, а многих уже не было. Нигде... Ну а кое-кому, таким как зажиточный мужик Трифон, удалось откупиться от призыва. Был Трифон в деревне «самым» из всех «самых». И односельчане, встречая его, снимали шапки и, почтительно склоняя головы, говорили:

– Доброго здоровьица, Трифан Стяпаныч...

А он только молча кивал да ещё сильнее выпячивал грудь, отводя свои широченные плечи назад. Ну, а мальчишки, которым он сквозь зубы цедил: «Голытьба, мать твою...», не шибко-то боялись и посылали ему вдогонку очень, по их мнению, ругательное и оскорбительное слово: «Сплутатор!».

Вот в эту светлую, лунную и морозную ночь объявилась у Трифона во дворе ведьма. Слух о ней недавно пошёл по деревне. Ходит, будто, по дворам ночами, скотину портит. Трифон с женой в это время крепко спали, из гостей пришли сильно хмельные. Мать их разбудила. Злая она была, ворчливая, может, поэтому и спала плохо. Вышла на двор, слышит, корова топчется. Не по себе старой стало – про ведьму вспомнила. Успокоилась корова и слышно, будто доит её кто-то. Обмерла баба...

– Тришка! Тришка, нечистый дух! Вставай! Корову портит! Ведьма! – с воплями залетела мать в избу.

Вскочил Трифон. Завыла жена:

– Ой, мамынька! Не пушайте его! Триша!

– Возьми топор, топор хоть возьми! Господи! – закудахта-
ла, засуетилась старуха и сунула обезумевшему сыну топор.

Трифон не отрезвел от страха, а впал в такое состояние, когда кажется, что со стороны себя видишь: он старался бе-
жать, но ноги еле двигались, преодолевая свинцовое оцепе-
нение. В глазах рвались красные кружева. Уши, будто напол-
ненные водой, слышали только гул, разрывающий его, Три-
фонскую, башку, готовую вот-вот лопнуть от напряжения.
И только одна мысль – «Убью»!

Вот и она. Стоит на коленях возле коровы. Доит. И шаль
чёрная, и лица не видно! Увидела его, кинулась прочь. От-
прянул Трифон, проскочила она мимо, да на забор. Тут и на-
стиг её топор. А бабы Трифонские на крыльце голосят:

– Караул! Люди! Спасите!

А кого спасать-то? Сбежался народ, огонь зажгли. Лежа-
ла она чёрной тенью на желтоватом от лунного света снегу.
К груди прижимала жестяную солдатскую кружку.

– Господи... Как же вы теперь, детыньки... Милые... Си-
ротки вы мои. Как же это, а... – только и прошептала.

Умерла Люба во дворе зажиточного мужика, у которого
были и батраки и коровы. А у неё – сынишка да дочка, по-
годки. Муж недолго воевал, вернулся израненный, помер.
Бедно жили. Люба после смерти мужа совсем зачахла, рабо-
тать не могла. Да и негде было – кто хилую в батраки возь-
мёт. Хозяйства своего давно не стало. Дочурка обезножела
от голода. И решила Люба по дворам ночами ходить, мо-

локо от коров воровать. Да много не брала, надаивала только кружку, что муж с войны привёз. Только кружку, чтоб хоть ей немного было, ей, младшенькой. Он сильно её любил, беречь завещал перед смертью. Тихо сказал умирая: «... береги её Христа ради, Любушка... береги её, доченьку нашу...»

Небушко



На лужайке около покосившейся, крытой соломой избенки, играла деревенская детвора. Какая-то необъяснимая сила тянула их к этому дому. Может оттого, что с Ванюшкой, жившим здесь, все хотели быть рядом – тянуло к нему и детей, и взрослых. Какое-то приятное, благодное состояние в душе ощущалось рядом с этим мальчишкой. Чистый взгляд его синих добрых глаз проникал в самое сердце. На бледном, болезненном лице всегда светила добрая улыбка. Глядя его нежные как пух, белые волосы, люди говорили: «Ангел». Да и ласковая хозяйка дома, Екатерина, привечала ребятишек – то яблочками угостит, то пирожками, то конфетами.

Жили они вдвоём с больным сыном, который на самом деле не сыном ей был – внуком. Мать его – дочка Екатерины – умерла при родах. Муж её тут же уехал в город и на дру-

гой женился. Но от Ванюшки не отказался и всё собирался забрать его к себе – семь лет собирался и, наконец, собрался. Поехал в деревню за сыном, да и погиб: в дороге напился со шпаной какой-то, те его обобрали, да с поезда на полном ходу и выбросили.

Ванюшка бабушку считал мамой. А она его – сироту – любила вдвойне: и как мать, и как бабушка. «Небушко. Небушко моё чистое!» – ласково приговаривала она, глядя в глубину его синих глаз.

Вот уже несколько дней Ваня не выходил на улицу и не играл с ребятами – обострилась его неизлечимая болезнь. Фельдшер, поставившая ему обезболивающий укол, уходя тихо шепнула:

– Крепись, тётъ Катъ. Скоро уже...

– Беда всегда к другой беде, – тяжело вздохнула Екатерина, вспомнив недавно погибшего зятя...

– Мама, оно синее нынче?

– Кто, маленький мой, кто?

– Небушко. Синее? Тучек нет?

– Синее... как глазки твои синее, Ванечка. Ни облачка.

Небушко – как выстиранное...

Мать повернула голову от окна. Поцеловала бледную ладошку сынишки, нежно погладила её.

– Мам, мальчишки на улице? А Женя? Женя там?

– Там, Небушко моё, там. Во-он она с мальчишками в догонялки, что ли... нет, в лапту они играют, Ванечка. В лапту.

Она взяла с его головы полотенце, помочила в холодной воде и снова положила на горящий лоб сына.

– Жалко... И я в лапту хочу... Женя теперь уж без меня будет играть... Мама, а мы с тобой книжки покупали, для первого класса... Букварь. Теперь уж и не надо. Я ведь умираю? Да? Мам, я бы на небушко посмотрел... И Женю хочу увидеть. Я... проститься хочу с ней.

За окном звенели детские крики, смех.

– Не попали! Не попали в меня! – кричала радостно семилетняя девочка, только что увернувшаяся от летевшего в неё мяча.

Екатерина как во сне выглянула в окно:

– Женя! Доченька. Подойди... Христа ради...

– Чё!? Тётъ Катъ, потом! Потом!

– Ванечка... Небушко моё... уходит...

Дети в растерянности замерли. Женя медленно подошла к окну. Екатерина повернула почерневшее от горя лицо к сыну и... упала на пол. Дети, поняв всё, с криком бросились по домам.

Беда всегда к другой беде...

А когда уходит светлый человек – на небушке всегда ни тучки...

Холодно...



– Здравствуй, любимый мой! Вот... пришла. Что? Поздно? Да мать прицепилась: «Куда! Куда на ночь глядя»?! Грозится совсем меня не пускать. Запру, говорит! А, как и вправду запрет? Как я тогда..? Ругается. Замуж меня гонит. Говорит: «Иди. Хоть за кого иди. Глядишь, детишки пойдут, и забудешь потихоньку... Жить-то надо ведь. Не то совсем с ума сойдёшь». Господи! Да как же я за другого-то пойду, если только ты один... Только и живу тем, что вечером к тебе приду, побуду с тобой, поговорю. Господи, холодно-то как. И моросит. А ведь зима скоро. А как тебе зимой... Я-то ничего, оденусь потеплее да и прибегу. А ты-то как... Холодно тебе там, милый мой. Как бы я согрела тебя сейчас: обняла бы тебя, прижалась бы к тебе. Господи! Да зачем же мне..!

Холодно...

Она пригнулась к деревянному кресту, поцеловала надпись на нём. Встала на колени, погладила могилку, медленно склоняя голову, коснулась щекой мокрой травы. Лёгкий ветерок прошуршал по её волосам, ласково погладил лицо. Пощекотал в носу. Она улыбнулась.

– Опять ты дурачишься.

Он взъерошил её волосы. Поиграл складками платья, снова погладил лицо, и, приподняв над ухом прядь, прошептал:

– Люблю-ю-ю тебя-я.

– И я тебя, любимый мой. Тяжело мне. Не могу я больше. Сегодня останусь...

Она повернулась на спину, положила ладони на грудь, пытаясь успокоить невыносимую боль в сердце. Посмотрев на мокрый от измороси крест, улыбнулась и чуть слышно прошептала:

– Милый мой, помнишь ведь, счастье – это не «и жили они долго и счастливо», а «и умерли в один день». Холодно-о...

Ветерок пошептал, вороша её волосы, пробежал по мокрым ресницам, будто хотел прикрыть застывшие глаза. Метнулся к замершим губам... на встречу к ней.

И два ветерка, закружившись в маленьком радостном вихре, понеслись от земного холода к вспыхнувшей на уже потемневшем небе манящей тёплой звезде.

Миг счастья

Они были счастливы. Они были – одно: одно сердце, одни мысли, одно тело, одна душа... Он только для неё, она только для него. И весь мир только для них. Она не знала раньше, что может так быть, вот так, вот так! И он не знал. Осенняя серая хмарь казалась цветущей светлой весной; колючая изморозь – нежной тёплой росой. Они были будто не на земле, а где-то... в раю.

Это то, что дано испытать только избранным. То, чего люди ждут порой всю жизнь, но почти все так и уходят, не дождавшись. То, вокруг чего и вертится всё бытие в этом мире. Очаровательным страданием, безумной жертвенностью, небесной чистотой и всеобъемлющим счастьем затмевает оно всё вокруг. Это то, что может дать только Он. И только Он знает: в награду это или для испытаний... Это – любовь. Любовь сильна, как смерть...

Она лежала, положив голову на его грудь, стараясь как можно тише дышать и не шевелиться, чтобы не прервать его спокойного сна. Будто горячие иглы покалывали затёкшие руки, невыносимо ныла шея от неподвижности. Но ей было хорошо...

Она думала о нём, вспоминала пролетевшую жизнь. Счастливые не замечают, как быстро она пролетает... Счастливые живут один миг. Счастливый миг. Миг любви.

А миг... пролетает, как миг. Любовь сильна, как смерть...
сильнее смерти!

Что это...



Весна. Март. Скользко. После дневной оттепели пришёл в город лёгкий вечерний морозец, покрыв дороги тонкой, блестящей корочкой.

Я спешу. Я очень спешу! В голове, словно надут воздушный шарик, пульсирующий и рвущий её на части. Сердце трепыхается в горле, перехватывая дыхание... Как же медленно едут эти машины впереди. И обогнать нет возможности... Господи, да шевелитесь вы уже, водилы чертовы!

И светофоры будто сговорились – всё красный, да красный... Нет, не могу больше!

Подъезжая к очередному светофору, пытаюсь вновь «разбудить» разрядившийся телефон. Замешкался, резко жму ногой тормоз. Проскрежетав шипованными шинами по льду, машина врезается в крутой внедорожник. Но я, не замечая этого, судорожно тычу пальцами в «уснувший» телефон...

Из джипа выходит крупный детина и медленно подходит ко мне.

– Отец! Ты что там?! Спишь!!! – кричит он, стуча кулаком (размером с мою голову) в стекло.

Открываю дверь, выхожу.

– Батя, ты чё, пьяный?

– Да нет, последние лет сорок уже пьяным не был, – отвечаю с улыбкой.

Детина широко разводит огромные ручки в стороны и с напускным сарказмом вскрикивает, добавляя резкое слово:

– И, б...., таДды чо-О?! Задремал малёхо!? Ментов зовём? Или сами оформлять будем? Токо ты торОпиССи шибко, я гляжу! Тады плати давай, и ползи дальше к бабушке своей!

Улыбаюсь, приподнимаюсь на цыпочки и, еле достав, трогаю его плечо:

– Ну, пойдём, сынок, – раз я тебе батя, глянем, что там у тебя.

Детина, внимательно осмотрев всё, хлопает лапищей по капоту моей машины и сквозь всхлипы смеха изрекает:

– Да ты посмотри, что ты с бампером своим сделал! На мой фаркоп его нацепил! Получается, что влетел ты в офигительный ремонт своей коробушки, а мне только пыль с фаркопа стёр! Спасибо. Теперь и мыть его не надо. Ну, ладно... – он внимательно посмотрел на меня, потом ещё раз на свой фаркоп и на мой бампер. Махнул рукой и снисходительно произнёс:

– Короче, пишем, что я по ошибке на светофоре вместо первой заднюю врубил. Ну и въехал в тебя. Страховку хоть получишь.

– Спасибо...?

– Николай.

– Спасибо, Коленька, но времени нет. Тороплюсь очень, а пока оформлять будем... Нет. Спасибо тебе. Если претензий нет, то поеду?

– Да какие претензии! Ну, смотри. Зря ты. Тебе ведь бампер, да и капот ещё... всё в копеечку влетит.

– Да ну и Бог с ним! Не могу я, Коля. Никак. Для меня не это самое главное, самое дорогое. Домой срочно надо. Жену целую вечность, целых два часа не видел...! Позвонить не могу – телефон забарахлил. А она ждёт, волнуется ...! Спасибо тебе ещё раз! Поеду я!

Парень рассмеялся и, покачивая недоуменно головой, пошёл к своей машине. Вдруг резко остановился, повернул-

ся в мою сторону, опустил голову, несколько минут смотрел сосредоточенно вниз, снова, но уже не грозно, а с какой-то трогательной нерешительностью развёл свои огромные руки в стороны, затем резко провел ладонями по повлажневшим глазам и, широко улыбнувшись, тихо сказал:

– Завидую я вам... Осторожнее будьте, пожалуйста, гололёд...

– Спасибо, дорогой..., буду.

Даже не взглянув на помятый капот и разбитый бампер, прыгаю в машину и жму на газ. Наш дом близко. Наш дом совсем рядом от этого перекрёстка. Скоро я буду дома! Скоро я увижу её!

Аккуратно, тихо, чтоб она не услышала, вставляю ключ в замочную скважину... За дверью её торопливые шаги. Она почувствовала, что я рядом. Открываю дверь и попадаю в её объятия. Мы стоим прижавшись друг к другу и время останавливается... Её мягкие, нежные волосы щекочут моё лицо... Вдыхаю их тёплый, родной аромат, и он растекается по всему телу приятным томлением. Два часа разлуки для нас – вечность!

Она поднимает голову от моей груди. Мы долго смотрим через глаза в души друг другу...

– Тебя не было целых два часа, и телефон... Что-то случилось!?

Она смотрит на меня с тревогой, блестят повлажневшие глаза, губки слегка скривились и вздрагивают... Господи,

как же она прекрасна! Даже когда плачет! Я люблю в ней всё: её тихий, ласковый голос, её завораживающие, черные глаза, её маленький носик, её яркие губы... Каждую её клеточку! Люблю и как она ворчит на меня за ненадетую шапку, распахнутую куртку, недоеденный обед... Люблю. Я не могу без неё даже мгновенье...

– Всё хорошо. Прости, пожалуйста... В гараже маленько заработался. А телефон... гад.

Любовь с годами притупляется, бледнеет – проходит. Остаётся привычка. Общий быт, общий, дом, общие дети... – общее, общее, общее. Так все говорят, так везде пишут, так все считают... Тогда что это у нас?! Проходят годы, дни, часы, минуты... С каждой минутой, с каждым мгновением я люблю её всё больше и больше! Вчера я думал, что сильнее уже невозможно любить! А сегодня понимаю, что люблю её больше, чем вчера! И так каждый день! Что это?!

И я с тобой...



Скорая подпрыгнула на очередном лежащем полицейском.

– Вот бы этих придумщиков дорожных провезти разок по этим изобретениям, когда их колика почечная прихватит или аппендицит... – злобно проворчала фельдшер.

Лежащий на носилках сухонький старичок приоткрыл глаза, расправил улыбкой болезненную гримасу на лице.

– Ничего, доченька, потерплю, – прошептал он и повернул голову в сторону державшей его за руку женщины. В её прищуренных, влажных глазах было столько тепла, нежно-

сти, любви! Она наклонила лицо к его руке, осторожно, опасаясь ненароком ударить своим подбородком из-за ужасной тряски.

– Коля! Давай потише! – крикнула фельдшер, постучав в окно кабины водителя.

– Аня, ты же сама велела быстро, – недовольно буркнул тот.

– И завывалку эту выключи к чёрту! И так душу выворачивает! – Фельдшер бросила взгляд на стариков, и комок слёз застрял в её горле.

Водитель, пожав недоумённо плечами, выключил сирену и сбросил скорость.

Женщина нежно прильнула губами к дрожащей, худой, старческой руке своего мужа чуть пониже вставленного катетера с капельницей, через которую в его угасающее тело текло лекарство, задерживая неминуемый приход смерти...

Он положил свободную руку ей на голову. Ласково погладил её волосы.

– Не горюй, любимая, всё хорошо. Я ненадолго. Вот вернусь, и мы снова пойдём с тобой гулять по берегу. Придём на наше место. Помнишь? Ну хватит, хватит... Ну ты что? Я же не умираю. Ну? Милая моя, ну... Ну всё, всё.

Она приподняла мокрое от слёз лицо, нежно улыбнувшись, беззвучно шевельнула губами:

– Я не отпущу тебя... Нет, я тоже с тобой... Я люблю-ю тебя!

Его переложили на каталку, покатали по коридору. Она снова улыбнулась, подняла ему вслед сморщенную ладошку, и в её глазах блеснули искорки счастья! Она теперь знала, что скоро они будут снова вместе, только уже навсегда!

– И я с тобой, милый... Я люблю тебя! – повторял её преданный взгляд.

Он приподнял налившиеся будто свинцом веки, шевельнув посиневшими губами, прошептал:

– И я тебя...

Больше они не виделись в этой жизни. Ушли навстречу друг к другу в один миг: он в реанимации, она – на скамейке в скверике больницы...

«Камень»



В 1964 году мне исполнилось девять лет. Тогда я впервые узнал боль потери, потери друга – Шарика, пса неизвестной породы; впервые увидел слёзы своего могучего отца; впервые почувствовал щемящую, нестерпимую душевную жалость-боль к чужому человеку...

Каждый вечер, когда темнело, отец отстёгивал Шарика

от цепи, и тот получал полную свободу. Но свою сторожевую службу не прекращал. Вернее, прекращал, но ненадолго. Бегая по деревне с друзьями и подругами, Шарик периодически подбегал к дому, проверял, не появился ли рядом кто чужой, а незадолго до рассвета уже был в своей будке.

Но в одно летнее воскресное утро – не вернулся. Мы с товарищем обежали все места, где Шарик мог быть, но не нашли его. Отец пообещал, что после обеда пойдёт с нами ещё раз поискать Шарика и порасспрашивать о нём односельчан.

Я сидел у окна и, чуть не плача, смотрел вдаль. Промелькнула мысль: а милиция может помочь? И тут, будто по волшебству, на дороге показался участковый милиционер.

– Пап, смотри, новый участковый идёт, и вроде к нам...

Отец вышел на крыльцо встречать: широко раскинул руки и приветливо пригласил в дом. Участковый виновато огляделся по сторонам, будто хотел призвать свидетелей в оправдание своего неурочного визита:

– Семёныч, извините, ради бога, что в воскресенье и домой к вам, но дело не терпит отлагательств. Опять этот ваш «подзащитный» Саша всю ночь стрелял. Сколько раз я хотел ружье у него отобрать, да вы всё уговаривали, заступались... —

Постой, так у него же охотничий билет есть, я тебе говорил, ружьё в нём вписано. Я слышал, что скоро введут закон о регистрации оружия и о разрешении милицией на его покупку, но пока же такого закона нет? Ну, ночью стрелял...

так в деревне же живём, если не мешал никому, так что? Или, мешал? Ну, ладно, заходи давай, что мы на крыльце-то...

Усадив участкового за стол, и крикнув бабушке: «Мам, угощай гостя», отец внимательно посмотрел ему в глаза и слегка кивнул головой, давая понять, что ждёт ответа.

– Мешал! Перед рассветом сегодня опять начал из окна палить. Толи в кошек, толи в собак... А если в людей бы попал!? Я у вас недавно, мало что про жителей ещё знаю, но о нём кое-что мне известно. Не работает – тунеядец. И в армию что-то не берут..., позвоню в военкомат завтра, уточню. Да и нет у него никакого билета! Вы меня, извините, в заблуждение ввели! Я понимаю, конечно, вы председатель, всё про жителей всех пяти сёл знаете..., но, видимо, он вас обманул, что в обществе охотников состоит и законно купил оружие. Или...

– Или. Это я тебя обманул, Тимофей. Отец разлил в рюмки водку, и, посмотрев на бабушку, кивнул головой в мою сторону. Та кивнула ему в ответ, и, взяв меня за руку, увела в другую комнату.

Но не так-то просто было остановить «сующего свой нос» всегда и во всё... Частенько отец щёлкал меня по носу, смеясь и приговаривая: «Любопытной Варваре...» Уютно устроившись на диване, закрыв глаза, сладко зевая и помахивая рукой в сторону двери, мне удалось выпроводить бабушку. И, как только она тихонько, опасаясь помешать засыпающе-

му внучку, прикрыла за собой дверь – я уже стоял, прильнув к замочной скважине.

– Эта главная причина, – говорил отец. – Согласись, этого достаточно, чтобы так к нему, все, кто об этом знает, относились. Но они с Маней – матерью-покойницей – старались скрывать... А у меня есть ещё одна причина – его отец, Сергей. Клятва моя, ему данная. В одном классе мы учились. Хиленьким он был. Обижали его частенько. Уж не такие и друзья были, но жалел я его – заступался... Он меня на неделю постарше был, и на фронт его раньше на неделю взяли. Месяца четыре только с молодой женой пожил.

Так вот, сижу на пересыльном, слышу: «Саня! Саня!». Смотрю, бежит, спотыкается... Прижался ко мне, плачет. Саня, кричит, не бросай меня, Христа ради, родненький, погибну! Упросил я командиров – не разлучали нас. Только недолго были мы вместе. Как-то ночью разбудил он меня. Наорал я на него, дал в сердцах подзатыльник, не сдержался, там ведь не всегда поспать-то спокойно доводилось. Какого, говорю, чёрта не спишься тебе! Сколько мне нянчиться с тобой, как с дитём малым?! А он улыбнулся и шепчет: «Саня, если невмоготу тебе, бей, я ничего, потерплю. Ты только клятву мне дай. Я ведь долго не выдержу. Ведь не дай бог в штыки – заколют, и ты не успеешь помочь... Поклянись мне, Саня, что сына..., сыночку моего не оставишь. Я Мане наказал, чтобы недолго по мне плакала и замуж шла. Она, конечно, плакать и клясться..., а я ей на икону показал и го-

ворю, что перед богом... не прошу, а приказываю ей! Чтобы жила! Чтобы счастлива была! А сын... кровиночка моя... Ты же знаешь, он без меня недавно родился. И Санькой мы его в честь тебя назвали, знаешь ведь..., Саня, Саня...» Тут уж я разревелся... Нервы-то уже ни к чёрту были.

А через день бой. Штыковая. Дерусь, а он за спиной. Слышу: «Саня! Прощай! Помни клятву!» Оглянуться не могу – дерусь! Слёзы глаза заливают – дерусь! Ору только: «Серёга! Серёга! Родненький!». И дерусь! И такая ярость... Скольких заколол – не помню. Много. Нашёл его потом. Не прятался он за мной – дрался. Одного даже заколоть смог, а другой...

Вот, Тимофей. На всё пойду. На всё! Ради друга, ради сына его! И... самая большая боль моя на всю жизнь – подзатыльник тот! Двадцать лет прошло, а ладошка всё «горит», будто только сейчас ударил... А Маня клятву, данную ему, нарушила. Так вдвоём с Сашкой и жили. В прошлом году её похоронили. Сколько к ней ни сватались, даже думать о других... – отец запнулся, вытер глаза.

Странно мне и непривычно было видеть его слёзы. Тихонько отойдя от двери я опустился на диван. С улицы раздался свист – наш условный с другом сигнал.

– Шарика твоего нашёл, пока ты дома прохлаждаешься! – крикнул друг в открытое окно. – Давай, пошли быстрее!

Шарик лежал за селом в овраге. Кровавая тропинка вела от него к дому... Сашки.

Похоронили мы Шарика там же, в овраге. Почему он полз

туда, а не домой? Говорят, что собаки перед смертью уходят от дома. Может потому и он, чуя скорую смерть, полз по-дальше от людей...

Всю ночь после похорон Шарика мою детскую душу терзало желание мстить, несмотря на слова отца, сказанные о Сашке участковому! Если нельзя отцу, то мне – можно! Хоть окна побить камнями! Рано утром, пока ещё все спали, желание отомстить победило. Я тихонько подкрался к Сашкиному дому и бросил в окно камень.

А днём было жарко и мы с другом, перед тем, как пойти в лес за земляникой, решили забежать на речку искупаться. Перейдя через мост увидели Сашку. Он сидел на берегу и, положив своё любимое ружьё на колени, разбирал его. Отстегнул от ружья ремень, отщёлкнул цевьё, отделил ствол от приклада и, увидев нас, помахал рукой, подзывая к себе. Мы нехотя подошли.

Сашка медленно привстал, уронив ружьё, дрожащей рукой протянул нам туесок с земляникой. Я почувствовал исходящий от Сашки резкий запах ацетона и, как замороженный, не мигая смотрел на него. Опухшее, бледное с желтоватым оттенком влажное лицо, синие вздрагивающие губы, тусклые, будто прикрытые пеленой глаза, и свежая рана от левого виска и до подбородка... Мне стало страшно.

Друг уплетал землянику. Сашка попытался улыбнуться – вместо улыбки получился какой-то оскал – и прошептал:
– Ешьте, мальчишки, ешьте, она... сладкая, а что останет-

ся – с собой берите. Потом повернулся ко мне: – Ты уж прости! Видел я, как ты камень бросил, не спал я, у окна сидел. – Сашка прикрыл дрожащей рукой левую щеку. – Стеклом вот разбитым... Прости.

Понимаешь, четыре утра, боли утихли маленько, думал, усну, а они как разлаялись. Нервы у меня сдали. Я кричать не могу – сил нет, взял ружьё, стрельнул из окна вверх – они ещё сильнее лаять. Ну я тогда – не вверх... Не думал, что попаду – в сторону стрелял. А Шарик твой чёрный, как ночь, да и темно ещё было. Не заметил, попал. Прости! Мало мне осталось, совсем мало, не могу я непрощённым к Нему, к Богу!

Он опустился на колени, перекрестился, поднял с земли ствол ружья, швырнул его в реку. Глубоко вздохнул, шумно выдохнул и повторил то же с прикладом и цевьём. Потом поднял ремень, поцеловал его и положил снова на землю со словами: «Может, пригодится кому...»

И, вдруг, запрокинув голову, сжал до скрипа зубы, зажмурил глаза – лицо исказила гримаса – и громко прошептал:

– Вышло, мальчишки, время моё, всё. Ждут меня там... А Бог, мальчишки, запомните, есть! Видел я его...

На следующий день Сашки не стало. Был он чуть ли не с детства на инвалидности – неизлечимо больным, и это было постоянной болью моего отца. «Ушёл» Сашка значительно позже, чем прогнозировали врачи, но не жил это время, а страдал. И, что бы ни совершил он в жизни, всё мерк-

нет перед его страданиями! И прощается Богом, если есть что прощать...

А у меня появилось ощущение похожее на «горящую» ладонь у отца – ощущение камня в моей ладошке...

Лосиные слезы



Я очень любил охоту. До двадцати лет. А вот после – возненавидел. А любил я её потому, что... любил. Природу любил: любоваться ею, слушать её, дышать воздухом, который сам в тебя вдыхается... И следопыта изображать нравилось. Целиться любил, а вот стрелять... Охотником я был немного ненормальным. А если точно, то совсем ненормальным. Если и стрелял в какую-то зверюшку, то изо всех сил старался не попасть. Жалко было. Случалось – попадал. И всех тех, в кого попадал, помню всю свою жизнь. И комок в горле от этих воспоминаний.

Часто охотился я со своим дальним родственником Серёгой, ровесником моего отца. Вернее, он охотился, а я мешал ему маленько. Охотником он был настоящим: знал всё про всю обитающую в наших краях живность. Стрелял как

снайпер. Его любимое ружьё – старая, кое-где замотанная изолентой, с треснувшим прикладом одностволка, которую он называл – скалка. Серёга любил её и не променял бы ни на какие «зауэры».

Два последних наших совместных похода на охоту сделали из меня ненавистника этой забавы. Первый – страхом. А вот второй – пробудил во мне то, что есть у многих, но находится в спячке до поры. Это – милосердие, сострадание... Хотя, надо сказать, не у всех это пробудить возможно – рождаются без этого.

Так вот: собрались мы как-то с Серёгой на кабана. Хоть и подгонял нас крепкий рождественский морозец, но до охотничьей избушки добрались только к вечеру. Будто огромный сугроб, засыпанная снегом стояла она на берегу лесной, петляющей между сопок речушки. Затопили печку, поставили на плиту котелок. Стали распаковывать свои баулы. Тут и посетило меня ощущение нехорошести от нашего предприятия: из баула Серёги вынырнула и торжественно водрузилась на стол бутылка с самогомом. Пил Серёга редко, но, соответственно охотничьему принципу, – метко. Напившись, превращался из доброго, весёлого мужичка в совершенную противоположность.

Отшвырнув опустошённую бутылку в угол, Серёга сгрёб остатки ужина со стола в котелок. Указал на него пальцем, помолчал, затем вскинул руку в сторону тлеющих, угасающих в печке углей, и изрёк:

– Видал... запах, видал? А? Печёной на углях. Картошечкой печёной. А? Вот. И кабан. Вот. Он чует. А идти – не надо идти. Я знаю. Знаю, где у них тропа. Рядом у них тропа. Идти никуда и не пойдём. Сами придут.

Серёга, покачиваясь, подошёл к двери, открыл её, вытряхнул на улицу содержимое котелка и, закашлявшись от влетевшего морозного облака, прохрипел:

– Придут... на запах придут. Патронташ твой. Патронташ давай.

Что оставалось делать? Пришлось снять с пояса патронташ. Серёга вылушил из него все патроны, уложил их рядом на топчан, накрыл своей телогрейкой.

– Чтобы соблазну у тебя не было ночью стащить их у меня. Спать на них буду. Они тебе без надобности, – затем достал из кармана два патрона и протянул мне:

– Вот. Бекасинник. Заряжай оба ствола. Они ночью не придут. Как засветат маненько, так и пойдут. По тропе. Она не далеко тута. Ты у тропы будешь, а я – за тобой... чуть справа.

Я подскочил от возмущения:

– Ты чё?! Серёга! Я бекасинником кабана буду брать? Это же как снежком в него бросить!

– Ты первого – секача – ошпаришь... бекасинником, он осерчат, ты с другого ствола – он озверет, и на тебя. Как прибежит к тебе разбираться: чё да как, я ёму в пятак – хрясь! Из скалки. Жаканом. Потом – свежим. Потом самогонку

пьем. Потом печёнку жрём!

– Потом?! Это потом, если... Чью только печёнку жрать будешь? Со мной – кабанью, или с кабаном – мою..?

Серёга плюхнулся на топчан, сладко зевнул, повернулся к стене, побряхтел, проворчал чуть слышно:

– Замолчь. Спать... И замолчь. Рано завтра подыму. Спать... сказал.

Через мгновение послышался его громкий храп.

Я осторожно вытащил из-под спящего свои патроны и, подгоняемый трескучим морозом и страхом, переполненный негодованием, к утру уже был дома. А через несколько дней случайно узнал от отца, (который, кстати сказать, запрещал мне водиться с Серёгой), что он угощался у того свежей кабанятиной...

Часто в молодости, да и не только, мы поддаёмся желанию самоутвердиться, показать свою храбрость, исключительность. Показать себя таким, каким не являешься, но хочешь быть. Тем, кем, на твой взгляд, должны все восхищаться, передавать из уст в уста байки о твоих геройских, порой безумных поступках.

Я не обделён был этим глупым, ложным желанием. И через несколько дней снова тащился по лесным сугробам след в след за Серёгой, держа наготове ружьё, заряженное жаканными патронами на лося.

– Знаю лёжку его, знаю, – пыхтел Серёга. – Если там, то собаки сейчас поднимут. Дикой – собака умная у меня,

не даст ему уйти. Не раз с ним лося брали.

Впереди послышался залиvistый лай. Желание реабилитироваться за свой «промах» с кабанями и охотничий азарт погнали меня вперёд. Я выбежал на поляну, значительно обогнав напарника. В центре, где снег был утрамбован телами животных, стояли лось и лосиха. Крупный пёс сеттер метался перед ними, и «держал» их в пределах лёжки. А маленькая дворняга, залиvисто лая, подпрыгивала, вцеплялась зубами сохатому в нависающую над нижней – верхнюю губу. Лось встряхивал головой и собака, сделав кульбит, шлёпалась в сугроб, но выкарабкивалась и снова бросалась в атаку. Лосиха вышла вперёд и отважно пошла на сеттера. Тот несмело отступил...

– Дикой! Держать! Взять, взять, Дикой! – закричал выбежавший, запыхавшийся Серёга и вскинул ружьё. В момент выстрела лосиха отпрянула назад и пуля, хоть и смертельно, но только ранила её. Она сначала медленно опустилась на колени, затем рухнула на бок, вытянула шею и тяжело задышала, хрипя и разбрызгивая вокруг кровавую пену.

Лось отшвырнул дворнягу, повернул огромную голову в сторону лосихи и одним прыжком оказался рядом с ней. Склонившись, шумно подышал ей в морду. И вдруг резко запрокинул голову вверх и, будто в самое небо, громко затрубил. Ещё и ещё! Лосиха продолжала тяжело, хрипло дышать, не замечая ни его, ни нас. Она умирала. И умирала в муках.

– Бей! Быка бей! Мать твою... – Серёга, стоя по пояс

в снегу, лихорадочно пытался вытащить застрявшую в стволе гильзу. С досадой отшвырнув ружьё, разгребая снег руками, будто вброд через водную преграду, кинулся ко мне. Вырвав у меня ружьё, он выпалил дуплетом. Но пули пролетели выше лосиного лба – от моего толчка Серёга скрылся в сугробе с головой. Лось стоял, не шевелясь. Маленькие, чёрные, полные слез пуговки-глаза смотрели на меня! В моей голове зашумело. Я будто услышал: «Люди! Да что ж вам от нас надо!? За что?! Зачем...».

– Он плачет... Серёга! Он плачет! – заорал я... и сам разревелся.

Серёга вынырнул из сугроба, перезарядил ружьё, взвёл курки...

Из чёрного пулевого отверстия между глаз лосихи медленно стекла на снег капелька крови. И так же медленно прикрылись её глаза.

– Не мучилась чтобы, – пробормотал Серёга, отшвырнул ружьё и, повернувшись ко мне, закричал, – Сопли утри! И нож доставай, разделявать будем.

Лось, бросив взгляд в мою сторону, огромными быстрыми прыжками скрылся в буреломе. Несколько секунд слышался хруст ломающихся кустов и мелких деревьев. А в брошенном им взгляде я уже не видел слёз – он был полон ненависти...

Будь она проклята: эта дикая забава – охота!

Витюшка

Страж счастья



– Опять метёт... Господи, да когда же кончится это...

Зина отошла от окна, присела в кресло, прикрыла глаза. Уже несколько дней она не находила себе места от тревожного чувства.

Зима 1969 года. Сынишке исполнилось пять лет. Безденежье заставило её выйти на работу. Место в детском саду пообещали только через полгода, не раньше. Пришлось отвезти Витюшку к её родителям в деревню. Вот уже три месяца

да прошло, и всё вроде хорошо: бабушка с бабушкой на внука не надыхаются, брат – школу заканчивает – души в нем не чают. Недавно прислали письмо с фотографией: Витюшка на ней такой радостный! Телеграмму посылала – ответили, что хорошо всё. Но почему-то сердце щемит так, что хоть вой...

Зина поцеловала фотографию сына и дала волю душившимся её слезам, не замечая, что вошёл муж и встал рядом. Он нежно тронул её за плечо:

– Зин, взял отгулы. На три дня дали. Поедем сегодня ночным, поедем. Завтра утром уже там будем... на станции.

– Куда ж мы поедем... Метёт-то вон как. На станции будем, а дальше? Автобус в деревню поди и не ходит. Двадцать километров по сугробам пешком идти?

– Зина, у нас метёт, а там-то может и не метёт. Сколько до станции на поезде? Почти триста км!

Зина, вытерла лицо, посмотрела снова на фотографию, затем в окно, и прошептала сквозь слёзы:

– Да, до станции бы поскорей, а до деревни хоть ползком, но доползу... добегу.

День выдался неожиданно солнечный. И автобус от станции до деревни поехал, но только другой дорогой: через лес. А это вместо двадцати – сорок километров. И то, только до опушки леса, а дальше ещё пять километров пешком. Но Зина не замечала ничего: ни ночной бессонной тряски в холодном общем вагоне; ни тесноты и духоты в маленьком,

еле ползущем по заснеженной лесной дороге, стареньком автобусе; ни голода – со вчерашнего дня крошки во рту не было. Перед глазами был только сын, в голове – мольбы к Господу.

В переполненном салоне послышались радостные голоса – наконец-то добрались – автобус устало выполз на опушку и остановился у домика лесника. Умученные, но счастливые пассажиры вывалили на улицу, жадно вдыхая чистый морозный воздух.

– О! Племянница! Это вы что это? Приехали?!

Зина, опираясь на руку мужа, повернула бледное лицо. Невдалеке, рядом с запряжённой в сани лошадю, стоял дядя Лёня.

– Дядечка, Витюшка мой как?!

– Да как... не знаю... нормально вроде, а что? Вы что приехали-то? Случилось что?

– Ты мне скажи! Правда, всё нормально?!

– Да что ты, Зина, Бог с тобой...

Зина опустилась в сани. Вся копившаяся до этого усталость, не замечаемая раньше, навалилась теперь. Муж, взяв из саней тулуп, укутал её, сел рядом. Дядя Лёня дёрнул вожжи, и лошадь резво побежала в сторону деревни.

– А я же соседских девчонков к автобусу отвозил. Учатся в районе на учительницев. В ентом... как его... педучилиш-ше.

Он скрутил самокрутку, с наслаждением затянулся:

– А Витюшка у вас... ну космонавт!

Зина вздрогнула:

– Как? Что?!

Дядя Лёня поперхнулся, прокашлялся, тихонько на себя выматерился за лишнюю болтовню и на всю оставшуюся дорогу крепко замолчал.

Зимний день проходит быстро. В окнах замерцало электричество. Зина, выскочив из не остановившихся саней, бросилась к ещё не запертой на ночь двери, пронеслась по сениям, распахнула дверь в избу...

Посредине комнаты застыл в недоумении брат Игорь. Отец – сидя за столом, держа в руке кусок пирога, в другой – стакан с молоком. Мать замерла рядом, прикрыв открытый рот кончиком полушалка. Витюшка сидел на плечах у Игоря, вцепившись ему в волосы и широко открытыми глазёнками уставившись на неизвестно откуда появившуюся мать.

Зина сбросила тянувший её к полу тулуп, тяжесть которого только сейчас и почувствовала, схватила Витюшку и рыдалась.

После плотного ужина, когда Витюшка уже спал, Игорь убежал в клуб, а тесть с зятем, разгорячённые самогоном, ушли курить в сени, Зина взяла мать за руку и, пристально глядя ей в глаза, спросила:

– Мам, что на прошлой неделе было? В среду.

Мать отвернула голову и, утерев глаза, тихо сказала:

– Доченька, хотели не говорить тебе, да разве материнское

сердце обманешь.

А в среду случилось то, что потом называли в деревне чудом.

В десять утра, как обычно, бабушка с внуком слушали радиопередачу «Сказка за сказкой». Бархатный голос Литвинова – главного и любимого всеми сказочника – лился вперемишк с шипением и потрескиванием старенького проводного радио-транслятора:

– С добрым утром, дружок! Сегодня я расскажу тебе сказку...

– Бабушка, это он мне говорит: «Дружок»? А ведь и ты тут. И тебе – «Дружок»?

Бабушка немного растерялась, не зная, как ответить внуку. Но он уже сыпал другими вопросами:

– Вот и Игоша бы послушал сказку, а ему в школе надо быть. Эх! А зачем?!

Бабушка ласково улыбнулась и тихонько, словно боясь, что услышит сказочник Литвинов, прошептала внуку в ушко:

– Игорь у нас взрослый же, он...

– Знаю, знаю, – перебил её Витюшка, – взрослым всегда надо куда-то ходить: или на работу, или в школу.

– Слушай, слушай, – снова прошептала бабушка, – Игорь

тоже маленьким любил сказки слушать.

Глазёнки внука округлились, он открыл от удивления рот, и, уже не обращая на радио внимания, воскликнул:

– Игоша был маленьким?!

Через некоторое время Витюшка, разглядывая разложенные бабушкой на столе детские фотографии Игоря, обдумывал услышанное. Ну никак не хотелось ему верить, что его любимый, огромный и могучий Игоша, был когда-то маленьким! Он посмотрел в окно, слегка прищурившись от искрящейся белизны солнечного морозного утра. Вдоль озера к церкви, серенькой узкой змейкой среди ослепительно белых сугробов, вилась тропинка, по которой он часто ходил с Игорем за водой к церковному колодцу. Ему вспомнилось, как Игорь носил два огромных ведра с водой на вытянутых в стороны руках. А иногда нёс сразу четыре: руки прижаты к бокам, согнуты в локтях, и на каждой висит по два ведра! Да ещё бывало и Витюшка на плечах сидит! И он, вот такой, был когда-то маленьким?!

Витюшка отпросился у бабушки погулять одному, пообещав не отходить далеко от дома. На самом же деле, он решил сходить к колодцу и оттуда пройти до дома по тропинке с вытянутыми в стороны руками. Он решил делать так каждый день, и ещё есть много варенья, как Игорь, твёрдо веря, что к приезду матери будет таким же большим и сильным.

Колодец был похож на маленький ледяной холмик. Витюшка, несколько раз поскользнувшись, кое-как добрался

до обледеневшего сруба. Ухватился за него руками и заглянул в ледяную, круглую, блестящую воронку, уходящую в бездонную черноту. Оттуда повеяло теплом и влагой, в носу защекотало, и мальчишка громко чихнул. Эхо хихикнуло в ответ из колодца:

– Хи-и-и...

– А ты кто? – удивлённо спросил Витюшка.

– То-о-о... – послышалось из темноты.

Витюшка наклонялся всё ниже и ниже, пытаясь рассмотреть незнакомое весёлое существо, которое будто манило, притягивало его к себе...

В правлении колхоза, находящегося рядом с церковью, заседали местные активисты, готовили план к будущим весенним полевым работам. Сизые клубы табачного дыма метнулись к распахнутой двери, уступая место ворвавшемуся морозному облаку. На пороге застыла техничка Тася. Сдёрнув с головы платок, она вытерла им мокрое, бледное лицо, вытянула дрожащую руку в сторону двери и забормотала:

– Караул... караул... там... там... в колодце... караул... привидение... караул...

Все бросились к колодцу. Один из прибежавших потянул опущенную в колодец жердь «журавля», но её крепко держал еле различимый в темноте, стоящий на выступе сруба над самой водой, маленький мальчик. Не каждый взрослый смог бы, нырнув с пяти метров в ледяную воду, вынырнуть. А если б и смог, то уж никак бы не вылез из воды в промок-

шей зимней одежде, валенках... Но раздумывать да обсуждать было некогда, ребёнок мог снова соскользнуть в воду.

Витюшкин дедушка брёл домой на обед. Сегодня он почему-то пошёл мимо церкви не со стороны правления, как всегда, а со стороны колодца! Будто ноги сами его повели... Увидев столпившийся народ и бегущего от церкви – там находился колхозный склад – сторожа с верёвкой, он понял всё. Ноги его подкосились.

Витюшка молча смотрел вверх на круглый кусочек неба, который то и дело закрывали чьи-то головы. Беспреданно слышались глупые, как он считал, вопросы:

– Мальчик! Мальчик! Как ты!? Чей ты?! Кто ты!?

«Ну и глупые же эти взрослые» – думал он. – «Ведь все же знают: чей я? Мамин. Папин. Дедушкин. Бабушкин... и Игошин ещё!»

И тут он увидел дедушку. Дедушка говорил, но не как всегда: весело и быстро, а почему-то заикался:

– Вит-т-тюшка, Вит-т-тюшка... я сейч-час... сейчас...

Обязанного верёвкой, вниз головой с вытянутыми перед собой руками, чтоб легче было пролезть, его стали опускать в обледеневшее горло колодца. Тёмный силуэт закрыл собой светлое пятнышко неба. В колодце резко стало темно и страшно! Витюшка от возмущения заревел.

Закутанного в чью-то шубу, его принесли в правление. Раздели, растёрли самогонкой – было щекотно, и он заливался смехом. А рядом его дедушка... плакал.

Дома, закутанный в тёплое, нагретое на печке одеяло, Витюшка крепко уснул. Прибежавшая молоденькая медсестра – она приехала совсем недавно в местную больницу по распределению – осмотрела его. На ребёнке не было ни царапинки! Померила температуру, послушала сердечко, лёгкие. Всё было хорошо.

Витюшка сладко, безмятежно спал, посапывая своим курносым носиком. Бабушка, хлопоча у стола, нащёптывала сквозь всхлипы:

– Господи... Слава тебе, Господи... Церковный колодец... Святой колодец... Господи...

Дед сидел поодаль. Держал в руках стопку с водкой, но всё никак не мог её выпить – от пережитого тряслись руки.

Медсестра потрогала Витюшкин лоб и сказала, повернувшись к Игорю:

– Ну вот, всё хорошо. Пусть спит. А утром приду, посмотрю его ещё... – и запнулась на полуслове, встретившись с его пронзительным взглядом. Как и беда не ходит одна, так и чудеса, если случаются – то одно за другим: они застыли, смотря друг другу через глаза в самые души...

– А за пациентом наблюдать... пока не проснётся... до утра, – прошептал чуть слышно Игорь.

У неё зажгло в груди, в голове зашумело и вырвалось из самого сердца:

– А я и не уйду..., никуда не уйду!

И, сначала на секунду испугавшись своих слов, вдруг по-

чувствовала покой, лёгкость – счастье! Она знала теперь, что этот огромный, не по годам взрослый парень – её судьба, её жизнь! И пусть будет всё, что будет! Она принадлежит ему! Он – ей!

Витюшка сладко потянулся, зевнул, открыл глазки и тут же прищурил их, пряча от ослепительного солнечного лучика, прыгающего по его лицу.

– Маленький мой, как ты? – склонилась над ним бабушка.

Он удивлённо обвел взглядом всех собравшихся. Непривычно было видеть, что и Игорь, и дедушка утром дома. Бабушка, да ещё какая-то чужая тетя, которую держал за руку Игорь – все стояли рядом и с беспокойством смотрели на него. Чужая тётя в белом халате спросила ласково:

– Ты какой-нибудь стишок знаешь? Расскажи нам.

Витюшка горестно вздохнул – не очень-то хотелось рассказывать сейчас стишок – привстал и, стараясь побыстрее отвязаться от этих надоедливых взрослых, затараторил:

– Зайкубросилахозяйка, поддождёмосталсязайка, со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок... – запнулся, осмотрел себя и со смехом закричал, – не-ет! Совсем и не промок!

Все рассмеялись. А солнечный лучик, сначала будто испугавшись громкого смеха, нырнул под занавеску, потом выглянул и побежал по всему дому, разбрызгивая радость и счастье!

Всё пережитое не давало Зине уснуть и в эту ночь. Обле-

деневший колодец, чёрная ледяная вода, мокрый маленький сын, стоящий на выступе сруба, ухватившийся заоченьевшими ручонками за шест «журавля», брат Игорь и молоденькая медсестра – всё это вертелось перед глазами как кадры кино.

– Чудо! Чудо! Спасибо тебе, Господи за сына... – шептала она. И вдруг промелькнуло в голове: чудо?... нет, счастье! Данное Богом счастье!

Она осторожно встала, подошла на ощупь к кровати матери, присела у её ног, слыша, что и той не спится: вздыхает, ворочается...

– Мам, а что Игорь-то, как у них? – спросила Зина тихо, склонившись к матери.

– Да как... Женить их надо, как... дак молодой ведь совсем.

– Мама, не зря это всё. Ангел Витюшку спас и их свёл! Это Бог так решил! А первенца Эдиком пусть назовут.

– Господи, имя-то нерусское...

Зина улыбнулась, по телу разлилась приятная теплота и лёгкость.

– Неважно. Означает – «страж счастья». Счастья, мама, счастья!

Артист



– А нам всё равно, а нам всё равно, пусть боимся мы... – полилась из радиоприемника весёлая песенка.

– Бабушка, бабушка, это артист Юрий Никулин выступает! Я знаю! – Витюшка вскочил из-за стола и ткнул пальцем в приёмник.

– А батюшки! Ну, садись, не поел ведь ещё.

– Поел! Спасибо, – он подпрыгнул и с размаху плюхнулся на широкую кровать, – я тоже артистом буду. Как Юрий Никулин!

Бабушка рассмеялась:

– А что же не будешь? И будешь! И ладно. А топерь ло-

жися, подремли маненько. Опосля обеда надуть полежать. Поспать.

Она подошла к окну задёрнуть занавески и замерла от увиденного очарования:

– Ба-а! Красотища та кака! – прошептала, крестясь на стоявшую напротив церковь. – И вправду – «Москва»!

Зимний день короток, и оранжевый солнечный шар уже начинал прятаться за крышу школы, стоящей справа от церкви. Яркие блики, помелькав игриво в церковных куполах, рассыпались искорками по снегу, прикрытому темным отражением школы...

– Бабушка, а мой друг сегодня на собрание в клуб пошёл со своим дедушкой. А мы-то с моим дедушкой сроду на собрания не ходим. А там, поди, интересно!

– Да мы чай не колхозники. Как нам там-то? Неудобно.

Витюшка, проживший свои долгие шесть лет жизни в городе, ещё не совсем понимал своеобразный деревенский говор.

– Неудобно – это что? Стеснительно? Да? А я бы сходил... Мне – удобно.

– Ложися давай, ложися. Ты во сне растёшь.

Расти-то Витюшка очень хотел. Но вот именно сейчас погулять хотелось больше!

– Не-т! – твёрдо, насупив брови, выпалил он, подскакивая с кровати, – Гулять! В «Москву» пойду. Курочкам тоже есть надо! А то сам наелся, а они!?

Колокольня церкви, превращённой в колхозный склад зерна, была очень похожа на кремлёвские башни, и потому бабушка с внуком называли церковь Москвой. Витюшка частенько ходил туда с маленьким ведёрком подбирать рассыпанное зерно. Уж очень ему нравилось, когда куры, торопливо расталкивая друг друга и благодарно клокоча Витюшке что-то на своём языке, клевали зерно с его ладошек.

– Ну, сходи, сходи, – усмехнулась бабушка. Потом вдруг тревожно – К колодцу чай не пойдёшь!? Христа ради, смотри у меня, не ходи!

– Меня ведь мама учила слово своё держать! А я всем вам слово дал: обещал больше никогда не ходить к колодцу. Не маленький, чай! – и тихонько, сам себе, чтоб не слышала бабушка, добавил, – Да и сам... боюсь к нему ходить.

– Ну и ладненько, ну и ступай. Да недолго!

В домашних хлопотах бабушка не заметила, как пронеслось время. Сердце её вдруг тревожно замерло. Она подбежала к окну. Церковь уже утонула в зимних сумерках. В блестящей ледяной поверхности озера, лежавшего между церковью и домом, замерцали отражения первых звёзд. Слева, через дорогу от церкви, снег осветился тусклым электрическим светом из окон клуба.

– А чё это? Собрание всё идёт? Кина то нынче чай нет. Выходной в клубе-то, собрание тока было... А где же он, Господи!

По тропинке, вдоль озера, шёл неторопливо Витюшкин

дед. Бабушка, набросив наспех шаль, выбежала ему навстречу, не обратив внимания на вырвавшийся с шипением и потрескиванием голос из радио транслятора:

– Внимание, внимание! Говорит радиВВоузел...

Дед, увидев выбежавшую жену, сразу всё понял:

– Что?! Витюшка!? Я тебе сколь раз баил: не пускай одного! Куды он собирался!?

– Саня! Господи-и! Да к чай к церкви за зерном. Господи! Ма-мынька! Не к колодцу ли опять пошё-ёл!?

Дед, не разбирая дороги, по сугробам, бросился к церковному колодцу.

Просеявшийся ещё с утра мелкий снежок припорошил подступы к колодцу и лежал нетронутым. Дед, как опытный охотник, внимательно осмотрел всё вокруг. На сердце стало немного легче – следов не было.

– Слава Богу... – прошептал он, облегчённо вздохнув. Но в колодец всё же заглянул.

Обежав несколько раз вокруг церкви, дед уставился на клуб.

– Собрание. А чё так долго-то? Не туда ли Витюшка полплёлся? – бормотал он сам себе. Подбегая, крикнул толпившимся на крыльце, — Чё тама?

– Концерт! Концерт!

Дед собрался было протиснуться в клуб, но вдруг услышав крик жены, спрыгнул с крыльца и побежал к дому.

– Саня! Витя! Витюшка! Саня!

– Что?! Что ты!? Пришёл!? – закричал он подбегая.

– Да нет! Не пришёл...

– Так чтож ты меня-то кричишь!?

– Спужалася... Глядь, и ты куды-то запропал...

Дед, вытирая ладонью мокрое лицо, громко и крепко выругался, забежал в дом, выпил залпом несколько кружек воды, кинулся было к двери, но... из динамика прохрипел уставший голос:

– ПоВВтораяю! Александр Фёдорович, ВитькА не теряйте. Он в клубе даёт концерт! Спасибо от благодарных зрителей-односельчан за внука-артиста, дорогой дядя Саня...

Клуб сотрясало от смеха. Витюшкин дед с трудом протискивался к сцене. Сквозь гул оваций до него долетали обрывки еле различимых фраз:

– Ну, артист! И стихи, и анекдоты!

– И поёт, и пляшет! Артист!

– А енто чей же это?!

– Дак чай Стеншиных внук! С Горького привезли.

– Ну, видать что городской! Глянь, чё делат-то! Ну, артист!

Артист низко поклонился благодарной публике, затем, подняв руку, призвал к вниманию и громко выкрикнул:

– Уважаемая публика! Юрий Никулин своё выступление закончил. Благодарю за внимание!

Клуб снова содрогнулся:

– Е-щё! Е-щё! Ви-тю-шка! Ви-тю-шка!

Артист широко улыбнулся, вытер взмокший лоб, показал рукой в сторону продиравшегося сквозь толпу зрителей деда и выкрикнул:

– Всё! Всё! Дедушка вон уж за мной... Уж в горле пересохло!

В сторонке от сцены стояла фляга с водой для питья. На тонкой цепочке, сбоку, висела большая алюминиевая кружка. Один из зрителей, молодой паренёк, оторвал кружку от цепочки, зачерпнул в неё воды и, прыгнув на сцену, протянул её Витюшке

– Не-т! – рассмеялся Витюшка. Я ещё не вырос совсем, чтобы бражку пить!

– Дак водичка, Витёк! Водичка! – крикнул паренёк.

– Ага! Водичка! Знаю я, какая там водичка. У моего дедушке на печке такая «водичка» стоит. Он как залезет туда, да как зачерпнёт из такой вот фляги, да как выпьет! И весёлый такой сразу! А бабушка ворчит: «Опять, каянный, всюю бражку выжрет. Опять самогонку не из чего гнать!»

Дед, остановившись возле сцены, почувствовал, как всё его тело обдало жаром. Показалось, что все односельчане смотрят с укором на его пылающее лицо...

Зал замер. И тут с первых рядов послышался тихий смех председателя колхоза. Участковый милиционер, сидевший рядом, вытер мокрое лицо носовым платком, прикрыл им глаза и закатился таким заразительным хохотом, что взорвался весь зал. Овации не утихали несколько минут.

Витюшка стоял с поднятой рукой. И когда зал потихоньку утих, выдал очередной перл:

– Уважаемые зрители! Навострите к вниманию уши! Артист Юрий Никулин не может выступать бесконечно! – поклонился, заодно подхватив с пола ведёрко с зерном, и продолжил, – Вон уж дедушка... Да я уж и кушать... и пИсать хочу давно! Вот!

Зал, стоя и бурно аплодируя, провожал Витюшку, сидящего на руках деда. А дед, протиснувшись к выходу, привстал на порог и, оглянувшись, поискал глазами участкового. Их взгляды встретились. Участковый, широко улыбаясь, махнул деду платком и, снова прикрыв им мокрые глаза, закатился в беззвучных всхлипах, – смеяться сил у него уже не было...

Ласково потикивали бадушкины ходики, отсчитывая минуты ночной тишины, посылая покой и теплоту в маленькое Витюшкино сердечко. Но он не мог уснуть: взбудораженный, умаявшийся, но гордый шептал:

– Да. Совсем я уже и вырос. Совсем я уже и взрослый. Артистом вот стал... Да... Вот мама-то за меня порадуется. Гордиться будет! Артист!

Водительница – спасительница



Был морозный солнечный день. Дорога, извиваясь серой змейкой между сопками, уползала от крутых берегов Енисея в сказочный лес. Солнечные блики, отражаясь от серебринея, падали брызгами на блестящий капот машины, отскакивали от него и, попрыгав в ветровом стекле, снова взмывали ввысь. Настроение моё было под стать этой прелести.

Вдруг на дорогу выкатился рыжий комочек с большим пушистым хвостом. Испугавшись огромного железного чудовища, летевшего на неё, лисичка замерла. Я резко упёрся ногой в педаль тормоза, крутанул руль в сторону. Шины взвизгнули, машина, сделав фуэте, влетела в огромный придорож-

ный сугроб.

Лисичка укоризненно посмотрела в мою сторону и, махнув пушистым хвостиком, скрылась за деревьями.

– Ну вот, и зверюшку напугал, и машину закопал. Ну, ладно, слава Богу, что спас такое чудное создание, – проворчал я и включил пониженную передачу. Двигатель взревел, колеса с остервенением стали выбрасывать из-под себя снег, зарывая машину всё глубже и глубже в твёрдый наст.

– Тоже мне, джип, – буркнул я, потихоньку соображая, во что влип: дорога безлюдная, до города далеко, да и дни зимой коротки – солнце уже пряталось за деревья. Лес теперь казался не сказочно красивым, а диким и страшным. Поёживаясь, я вышел из машины, достал лопату. Осмотревшись, совсем упал духом от безысходности – машина сидела в сугробе до половины кузова. Судорожно нащупав в кармане телефон, уставился в экран, не желая верить увиденному, – связи не было... Перспектива ночевать на таёжной дороге в ожидании чуда – проезжающего грузовика, вырисовывалась всё отчетливее.

Неожиданно из-за поворота вынырнула малолитражка, раздираемая музыкой так, что не было слышно двигателя. С деревьев посыпался иней.

Я с досадой швырнул лопату: «Этого мне сейчас не хватало! Только дебильной молодежи!»

Машина резко остановилась. Маленькая улыбающаяся водительница, потряхнув рыжими волосами, с криком

«за мной!» выскочила на дорогу. За ней, как чёртики из табакерки, выпрыгнули все пассажиры: три паренька и девушка.

Не успел я опомниться, как один из парней подцепил ногой брошенную мной лопату, ловко её поймал и кинулся в сугроб. Второй, открыв багажник малолитражки, выхватил сапёрную лопатку и начал выкапывать мою машину с другой стороны, моментально скрывшись в белом снежном облаке. Третий паренёк орудовал буксиром. Девушка-пассажирка села за руль малолитражки, а девушка-водительница – за руль моей машины.

Я растерянно смотрел на эту битву с природой, как будто фильм в 3D. Открыл было рот, но не найдя слов, только развёл руками, глядя как грузный джип, буксируемый крошечной машинкой и толкаемый парнями, тяжело выползает на шоссе. Ребята, раскрасневшиеся, возбуждённые работой, смеялись, перебрасывались шутками.

– Вы, наверное, недавно за рулём? – спросила лихая водительница, шустро выпрыгивая из-за руля моей машины.

– Увы, – ответил я, улыбаясь, – сорок лет.

– Ого! – звонко рассмеялась она и, протягивая мне ключ зажигания, добавила вдруг тихим, дрогнувшим голосом, – будьте осторожнее, пожалуйста...

Быстро погрузившись в свою машину, ребята помахали мне на прощание.

– Ребятишки... Ребята! Пойдите, пойдите... Спасибо.

– Не за что! Счастливого пути! – прокричали они хором. Машинка, будто превратившись в огромный динамик, грохоча децибелами, скрылась за поворотом.

А я всё стоял и смотрел им вслед. От переполнявших меня чувств на глаза навернулись слёзы – слёзы любви и благодарности к этим незнакомым, пышущим здоровьем, радостью и счастьем ребятам.

Я смотрел на дорогу, на лес, на прощальные, играющие в инее блики прячущегося солнца, и вдруг вспомнил лисичку. Мне почему-то захотелось поверить, что это она в благодарность мне превратилась в маленькую, с ослепительной улыбкой, рыжеволосую девушку-лисичку. Лисичку-водительницу. Водительницу-спасительницу!

Счастье



Весна. По почерневшему, пористому льду смело расхаживают только вороны, не боясь провалиться в ледяную кашу из-за своего махонького веса, да из-за возможности вспорхнуть, если нужно.

Маленький щенок Дик страшно не любил ворон и боялся их, когда далеко отбегал от Хозяина. Рядом же с ним он

не боялся ничего и никого. Мог запросто прокричать всякие свои нехорошие собачьи слова всем, кого встречал, даже взрослым сородичам. Ведь рядом Хозяин. А он самый сильный, самый добрый, самый-самый! С ним ничего не страшно. С ним хорошо, сытно и радостно! Счастье!

Дик не мог идти спокойно, счастье переполняло его маленькое щенячье сердечко. Он прыгал, кувыркался, стремительно бросался вперёд, потом назад. Натыкался своим длинным породистым носом на хозяйские ноги, с радостным визгом отпрыгивал от них в сторону. Потом резко останавливался задирая голову вверх, вглядывался лукавыми глазами в улыбающееся, доброе лицо Хозяина, наклонял голову немного набок, приподнимал правое ухо, пытаясь лучше расслышать его ласковые слова: «Дик, Дикушка мой. Маленький мой, играй, играй, ну, давай беги, беги», – и снова стремглав бросался вперёд.

Вороны важно расхаживали по льду, аккуратно выковыривали вытаявшее съестное. Дик остановился на берегу и выкрикнул в адрес ворон несколько ругательных собачьих слов. Вороны продолжали своё занятие, не обращая на него ну никакого внимания. Дик очень на это обиделся. Ведь он уже взрослый пёс, ему уже целых три месяца. Он лаять уже умеет! А они его даже не замечают! Дик оглянулся – Хозяин далековато. Почему-то поднял руку и побежал в его сторону. Машет рукой, кричит: «Дик, нельзя! Стоять! Стоять! Туда нельзя! Дик!» – «Странно, – подумал Дик, – Что он так раз-

волновался? Ведь он же сильнее ворон!»

Маленький пёсик ещё не знал, что эта широкая, ровная лента, отделявшая город от леса, может вдруг превратиться в воду. Очень часто они с Хозяином ходили через неё в лес, и он помнил, что идти по реке очень даже жёстко его маленьким лапкам, не то, что по пушистому снегу. Ну вот, Хозяин уже близко, теперь не страшно. Ну, держитесь вороны! И Дик понёсся с берега.

Пролетев несколько метров, пушистый комочек скрылся под маленькими, серыми айсбергами. Темно! Холодно! Мокро! Ничего не понимающий пёсик, повинувшись инстинкту, затаил дыхание и изо всех сил забарабанил лапками.

Раздвигая грязные льдинки, над водой появился его длинный носик, и испуганные глазки увидели Хозяина. Он был рядом, совсем рядом, но почему-то только одна его голова.

Хозяин тяжело дышал, совсем не улыбался. Он притянул Дика к себе. Прижавшись мордочкой к щеке хозяина и обхватив его шею лапками, Дик жалобно заскулил: он понял – случилось что-то страшное! Хозяин, расталкивая льдины лицом, напрягаясь изо всех сил, плыл к берегу. Намокшая одежда тянула вниз, делаясь все тяжелее и тяжелее. Чувствуя, что бороться больше нет мочи, он оторвал вцепившегося в шею щенка, выбросил его на берег, сделал поглубже вдох и поддался утянувшей его на дно силе.

Дик перевернулся несколько раз в воздухе, больно ударился боком о ледяную глыбу, мячиком отскочил от неё

в жёсткий, подтаявший сугроб. Быстро вскочив на ноги, подбежал к воде, пытаясь разглядеть среди льдин любимое, дорогое ему лицо. Вороны, недовольно отлетевшие в сторону, безразлично поглядывали на происходящее, продолжая своё занятие.

Над водой показались руки и голова Хозяина. Оттолкнувшись ногами от дна, он сделал подобие прыжка к берегу, судорожно вдохнул весенний воздух и снова скрылся в ледяной каше...

Дику показалось, что прошла целая вечность, прежде чем голова Хозяина появилась снова. Вот он поднял руки, помахал ободряюще Дику, и медленно пошёл к берегу, всё больше и больше появляясь из воды. Счастье. Опять счастье! Они бегут домой...

Дик приоткрыл глаза, приподнял, как в детстве, правое ухо, прислушался. Идёт Хозяин после ночного дежурства? Нет, показалось. Хозяин ходит не так. Это сосед с верхнего этажа. Дик не любит соседа – от того вечно пахнет супом. А суп – самая нелюбимая еда Дика. Любимая – булочки с помидором. Ох, какие же они вкусные! Хозяин почему-то не разрешает их много есть, но это не беда. Потихоньку от Хозяина Дика угощает булками его Друг. Счастье!

Друга Дик любит даже больше, чем Хозяина. Друг малень-

кий и слабый, его нужно защищать. Зато Друг очень добрый: сегодня утром, после прогулки, они вдвоём так здорово наелись сладкими булками, а потом Друг ушёл в школу.

Дик очень не любит школу. Она отнимает у него Друга на целый день! А после школы они вместе не любят Уроки. «Ур-р-р-ы! Р-р-р! Р-р-аф!» – проворчал сердито Дик, прикрыл глаза и снова погрузился в свои собачьи раздумья.

Да, они с Другом сильно не любят Уроки. Он вспомнил, как Друг долго и грустно смотрит в раскрытую книгу, чиркает ручкой в тетрадке, потом снова смотрит в книгу. Сердится, ругает Уроки. А Дик лежит в это время тихо, положив голову на передние лапы, и, тяжело вздыхая, не отрывая взгляда от Друга. Если бы тот показал ему этого Уроки! Если бы только скомандовал: «Дик, фас!» Он бы разорвал это ненавистное создание в клочья! Но Друг никогда так не делает, а Дик не может понять, где он, этот гадкий Уроки, который не дает им играть и не пускает гулять!?

Когда Дик был маленький, он остервенело рвал книги, думая, что это Уроки. Но Друг после этого грустил, а Хозяин не грустил, зато очень сердился и ругал Дика. Даже запрещал им в наказание гулять! А Дик очень любит гулять с Другом. И даже прощает ему, когда тот начинает командовать, что Дик делать. Дик делает вид, что слушается. Дик ведь взрослый и понимает, что Друг ещё маленький. Дик любит его. Пусть думает, что после Хозяина он самый главный. Дик знает, что главный он – Дик, но не хочет обижать Друга. Дик

знает, что Друг – глупый щенок, каким он и сам ещё недавно был...

Обрывки мыслей мелькали у Дика в голове как мошकारа перед глазами в тёплый летний вечер. Он нахмурил свой широкий лоб и грозно зарычал на свои мысли, пытаюсь заставить их не мелькать так быстро. Но мысли разогнал услышавшийся рокот подъезжающей машины.

Дик вскочил, подбежал к двери. Этот звук он очень хорошо знал. Это – Хозяин! Счастье!

Зайдя, тот устало потрепал Дика по голове: «Ну, пойдём, только недолго, устал я, Дикушка». Дик как стрела вылетел из подъезда, сбегал на пустырь за спортивной площадкой, сделал там всё, что ему было нужно, и также стремительно прибежал назад. «Ну, быстро ты, молодец», – сказал Хозяин одобрительно, впуская Дика в подъезд. «Вот, Хозяин, видишь, как я стараюсь тебе угодить? Видишь, какой Дик хороший? Скажи ещё ласково», – говорил Дик на своём собачьем языке, стоя уже на площадке около двери и нежно смотря своими преданными глазами на поднимающегося по лестнице Хозяина. «Тише, тише, Дик. Давай заходи. Успокойся, мне совсем не до твоих игр, устал. Сейчас чайку и спать. А тебе – на твою любимую булку». Счастье!

Хозяин дремал на диване. Дик тревожно скулил и тянул с него плед. «Дик! Что? Опять тебе приспичило? Ведь только зашли... Вот ведь, говорю, что нельзя тебе много булок! Всё! Больше не получишь!» – Хозяин сердито открыл дверь. Дик

выскочил на площадку и остановился, ожидая Хозяина.

– Ты что? Дик? Ты же всегда успеваешь до пустыря добежать, пока я дверь запираю. Ну, ладно, пошли вместе, – Хозяин вышел из подъезда вместе с Диком. Но тот никуда не побежал. Молча стоял возле Хозяина, заглядывал ему прямо в глаза.

– Ты не заболел ли? – Хозяин присел, заботливо обнял Дика за шею, потрогал его нос, – Носик холодный, мокрый... Всё, Дик, домой! – они зашли в подъезд. Дик не бежал, брёл понуро...

– Странно, всегда влетаешь на четвёртый этаж мухой, а тут еле тащишься, – устало ворчал Хозяин. Дик, поскуливая, нехотя зашёл за ним. Хозяин, не раздеваясь, устало плюхнулся на диван, – Что-то мне скверненько, Дик, – пробормотал он, проваливаясь в тяжёлый сон.

Ему снилась давняя их с Диком история: он погружается под воду, отталкивается от дна ногами, вынырнув, хватает ртом воздух, выплёвывая колкие крошки льда. Намокшая куртка как якорь снова тянет на дно и сквозь чёрную толщу до него долетают обрывки собачьего лая, смешиваются с шумом ледяной воды, врывающейся в уши. Нужно проснуться. Открыть глаза! Сильнее! Сильнее! Но вода давит на грудь, наполняет горло, и, не давая дышать, шумит и шумит в ушах... В этом шуме слышится: «Ну, вот, всё, теперь уже всё...» Он вдруг понял, что это: это – смерть. Она опять пришла к нему, как тогда в ледяной весенней воде.

А Дик? Он же не лаял тогда! Глаза! Открыть! Сильнее! Ну, вот... Уже отчётливо слышен истошный лай Дика.

Очнулся он на полу в коридоре. Дик то лаял ему прямо в лицо, пытаясь разбудить, то хватал зубами за ремень брюк и тащил к двери. Липкое, отвратительно пахнущее синеватое марево окутывало всё вокруг. Хозяин с трудом привстал на колени, открыл дверь в подъезд, на четвереньках дополз до газовой плиты, перекрыл вентиль конфорки под залившим её чайником, распахнул настежь окно, выпуская ядовитое облако, и упал, снова потеряв сознание...

В тот вечер у Дика было самое большое Счастье! Ему дали много сладких булок. Уроки, видимо, тоже был побеждён, как и газ из плиты, потому что Друг весь вечер играл с Диком! А все радостно смотрели на них, улыбались и почему-то плакали... От счастья.

Блаженный Серафим



Каждая охота имеет свою специфику: на медведя – одно, а вот на зайца, к примеру, – совсем другое. Не зря за ним прозвище в народе утвердилось – косой. Если зайца с лёжки поднять и погнать, он не бежит прямо, а, как правило, забирает в сторону – как бумеранг. И, пробежав по кругу, обязательно на прежнее место возвращается. Зрение у зайца плохое, а вот слух прекрасный. Поэтому ждущий его охотник шуметь, а, главное, шевелиться, не должен ни в коем случае!

Два друга по охоте и коллеги по работе шли на широких охотничьих лыжах снежной целиной в направлении чёрной полосы перелеска, вырастающего из-за горизонта.

– Серафим Яковлевич, не отставайте. Гонный заяц – до обеда. После обеда он может назад к лёжке и не пойти. Если ещё старый, да опытный. Ну, вот как вы, – широко улы-

баясь, сказал Виктор Сергеевич.

Серафим Яковлевич – школьный учитель – был во многом прямой противоположностью директора Виктора Сергеевича: немолодой, худой, невысокий, молчаливый. А директор – молодой высокий балагур и весельчак. Правда, с юмором у обоих всё было в порядке. В этом Серафим своему директору не уступал.

– Дайте отдышаться, Виктор Сергеевич, – сказал он, выдохнув, и, остановившись, повис подмышками на лыжных палках. – Не забывайте, дорогой, что когда вы делаете один шаг – мне приходится делать два. А впереди зайчик гонный, как вы говорите, ждёт. А зайчик гонный тогда, когда его гончий пёсик гонит. Стало быть, для таинства этого трое нужны: гончая, заяц, охотник. Ну и нас трое. Заяц он заяц и есть – никем другим не согласится быть. А вот из нас двоих кто есть кто – нужно определиться. Я полагаю, Виктор Сергеевич, что я – охотник, стреляю хорошо. Ну а вы, стало быть, имея перед нами огромное преимущество – длинные, крепкие ноги – гончая. Или, если хотите, легавая.

– Нет, коллега, я уж лучше буду лайкой. И с ней неплохо на зайца ходить.

Перебрасываясь шутками друзья достигли перелеска и перешли в режим тишины.

Всё складывалось удачно: зайдя с подветренной стороны они наткнулись на свежие следы и всего через несколько метров «подняли» зайца.

– Ну, Серафим Яковлевич, начали! Вот к этому кусту встань или ляг – как хочешь, только не шевелись. Я тебя умоляю: не шевелись! А я по малику (заячьему следу) пошёл. Минут через сорок – жди! – и, бросив к ногам коллеги куртку, шапку, ружьё, перевязал лоб шарфом и с криком «Гоп-гоп! Гоп!» бросился за зайцем.

До изрядно заскучавшего, а главное, заочневшего от неподвижности охотника, донеслось приближающееся: «гоп, гоп». И тут же мимо него промелькнуло беленькое, маленькое, лопоухое. Серафим свистнул. Заяц, как ему и положено в такой ситуации, остановился, привстал на задние лапы, закрутил головой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.